

Информационные материалы для издательства

Книга: «**Финские дни**», роман

Автор: **Герман Кох** (Нидерланды)

Издательство **Ambo|Anthos**, Амстердам

Менеджер по авторским правам: **Orli Naamani** (ж), эл. почта onaamani@amboanthos.nl

Перевод отрывка с нидерландского языка и подготовку материалов выполнила

Бассина Ирина Андреевна, эл. почта ibassina@gmail.com



Сведения о публикации на нидерландском языке

Оригинальное название: **Finse dagen** (2020) Автор: **Herman Koch**

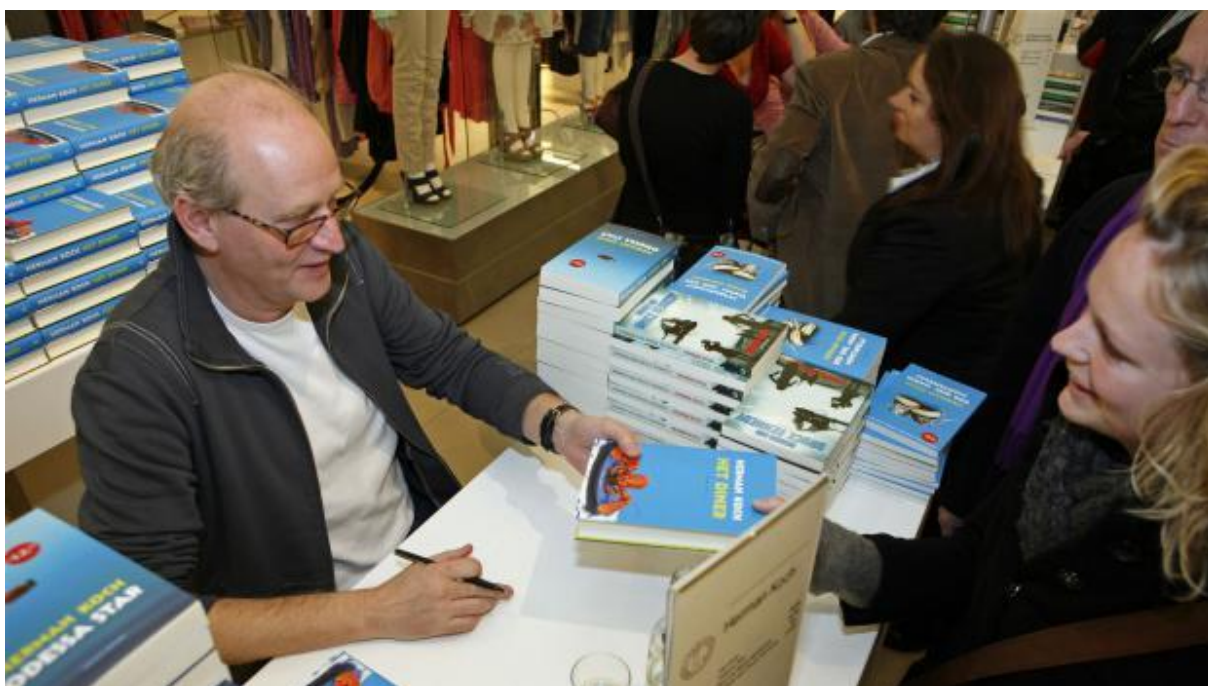
Объем: **308** стр. ISBN13: **9789026341069**

В 2020 году книга вышла в переводе на **финский** язык (издательство Siltala, Хельсинки; переводчик Antero Helasvuo, ISBN13: **9789522346797**).

В августе 2021 года ожидается выход книги в переводе на **немецкий** язык (издательство Kiepenheuer & Witsch, Кельн; переводчики Christiane Kubu и Herbert Post; ISBN: **978-3-462-00065-8**)

Об авторе

Нидерландский писатель Герман Кох (р. 1953) известен также в качестве телеведущего и колумниста. Мировую известность ему принес роман «Ужин» (2009), изданный в сорока странах общим тиражом более 2,5 млн экземпляров. За ним последовали такие бестселлеры, как «Летний домик с бассейном» (2011), «Уважаемый господин М.» (2014) и др. Многие из них переведены на русский язык. Новый роман «Финские дни» (2020) в творчестве Коха стоит особняком ввиду его явной автобиографической основы.



Об этой книге

Информация Нидерландского литературного фонда (на английском языке):

<http://www.letterenfonds.nl/en/book/1325/finnish-days>

Номинации на национальные премии

В Нидерландах роман Германа Коха «Финские дни» был включен в лонг-листы двух крупных национальных литературных премий: Boekenbon Literatuurprijs 2020 (15 позиций) и Libris Literatuur Prijs 2021 (18 позиций).

Отзывы в прессе

Рецензенты крупнейших нидерландских газет и журналов встретили «Финские дни» вполне положительными отзывами.

«Никто мне не верит», — отмечает он в сильном прологе к роману, говоря о месяцах, которые провел в Финляндии, будучи девятнадцатилетним юношей. [...] В интервью Кох назвал этот роман «самой важной» своей книгой. NRC

У Коха продуманная манера повествования, и всегда была, но в этой книге стиль его письма более непосредственный и осознанный, чем когда-либо.

De Groene Amsterdammer

Кох превосходно владеет своим ремеслом.

De Volkskrant

Вполне возможно, что это лучший роман Коха.

Het Parool

Это не просто книга о воспоминаниях, это книга о недостающих воспоминаниях, в чем и состоит ее своеобразие.

Trouw

Помимо рассказа о взрослении ищущего подростка, который примиряется со своим отцом, имеющим связь на стороне, «Финские дни» — это еще и книга о влиянии слов, о правдоподобии...

HP/De Tijd

Текст на обложке

Автора этой книги на разных вечеринках и в застольях часто спрашивают о его «финском периоде», причем жалостливым тоном. Он сам смеется над этим, потому что его пребывание в Финляндии действительно кажется неправдоподобным. Рослый и неуклюжий юноша девятнадцати лет от роду выбирает работу на ферме и лесопилке в весьма отдаленном месте. Это может звучать романтично, но на самом деле не так. Незадолго до описываемых событий у Германа умерла мать, и он уехал туда, чтобы сбежать от отца и его новой подруги, чтобы отсрочить то, что он давно уже знал.

Сорок лет спустя Кох возвращается в Финляндию и ему в руки попадает сборник стихов, в которых прямо говорится о его прежнем пребывании в этой стране. Он уже не может отделяться от этого периода шутками. Он внимательно изучает собственное прошлое, исследуя, как работают воспоминания и как он может рассказать эту историю, не очерняя реальность.

Краткое содержание книги

Повествование ведется от первого лица, персонаж от автора назван его именем, создается обманчивое впечатление, будто читателю предстоит ознакомиться с автобиографией.

В 1973 году, едва окончив школу, девятнадцатилетний Герман в одиночку отправляется на полгода в Финляндию, в глухой уголок Северной Лапландии, чтобы заниматься там физическим трудом. Для начала он знал по-фински всего два слова: äiti (мать) и kuollut (мертвый). Постепенно, работая на ферме и на лесопилке, он начинает понимать финский язык, и суровые финские лесорубы, помимо всего прочего, делятся с ним воспоминаниями о советско-финской («зимней») войне.

Незадолго до окончания школы у Германа умерла от тяжелой болезни мать, а отец последние несколько лет жил на два дома. После смерти жены отец окончательно переселяется к своей подруге, немолодой вдове.

Отец настаивает, чтобы Герман продолжал образование, но тот еще не определился со своими интересами, и поездка в Финляндию дает ему возможность отложить принятие твердого решения. Постепенно он осознает, что уже давно хочет стать писателем, и никем больше.

Почти сорок лет спустя, в 2012 году, Герман, уже маститый писатель, снова оказывается в Финляндии для презентации своей новой книги. На книжной ярмарке ему в руки попадает сборник стихов на финском языке «Финские дни», листая который он с удивлением видит свое имя. Книга вызывает у него воспоминания о полузабытых персонажах и событиях давно прошедших лет и размышления о прожитой жизни и природе писательства.

Роман делится на своего рода пролог и три части, состоящие из незаглавленных глав. Хронология жизнеописания не соблюдена: время до смерти матери, первое пребывание Германа в Финляндии, вторая поездка и настоящее время тесно переплетаются между собой.

Действие первой части происходит в Финляндии — во время первой поездки и поездки на книжную ярмарку. Кох с не характерной для него симпатией описывает персонажей, которые ему там встречаются. Среди них выделяются двое: финская девушка Анна, в которую юный Герман влюбляется с первого взгляда, чтобы через три дня расстаться с ней навсегда, и учитель английского языка Аатто Аалто — поэт, который и

увековечил Германа в своем стихотворении из сборника «Финские дни». Именно Аатто в свое время дал Герману почитать «Анну Каренину», которую Кох называет своей самой любимой книгой всех времен.

Во второй части автор обращается к годам учебы в старших классах. События этого времени уже отчасти описаны в дебютной книге Коха «Спаси нас, Мария Монтанелли». Ссора с ректором, который пытается помешать ему сдавать экзамены, мучительная смерть матери, отец, который пытается навязать ему свои планы на будущее, новая жена отца. Атмосфера совсем другая, гнетущая, но именно здесь Герман дает понять, почему после окончания учебы он не захотел поехать со школьными друзьями куда-нибудь в израильский кибуц или убирать урожай винограда на юге Франции, а выбрал одиночество в далекой северной глуши.

В третьей части главной темой становится взаимосвязь между фактом и вымыслом в писательском творчестве. Но важным мотивом также является тема гомосексуальности, которая пунктиром проходит в нескольких различных ситуациях, включая почти комическую: из-за языкового барьера испанка А., впоследствии ставшая его женой, при знакомстве сначала думает, что Герман — гей, затем понимает, что он должен быть «хотя бы би», и только потом окончательно убеждается в его гетеросексуальности.

С А. Герман посещает в Финляндии дом-музей Аатто Аалто и видит в стоящей на столе мемориального кабинета пишущей машинке письмо, которое Аалто написал Герману из далекого финского 1973 года, незадолго до того, как броситься под поезд. Герман делает так, чтобы жена не увидела того, что там можно прочитать, но автор подмигивает читателю, что теперь это есть в книге.

И, наконец, упоминание об «Анне Карениной» — книге, которую Герман позаимствовал у Аалто, — также говорит о его отношениях с Аалто и с Анной. Три А. в одной сцене, да и в посвящении к роману значится А. — одно только это должно засвидетельствовать, что книга Германа Коха «Финские дни» представляет собой не просто автобиографию писателя, фрагменты которой уже были разбросаны по более ранним его произведениям, а тщательно выстроенный постмодернистский роман, в котором оставшееся между строк едва ли не важнее того, что в нем написано.

Отрывок из романа Германа Коха «Финские дни»

Стр. 9 – 33

Перевод с нидерландского Ирины Бассиной

В Финляндию я поехал прежде всего затем, чтобы делать что-то своими руками. В 1973 году делать что-то своими руками было совсем не то, что в наши дни, в 2020. За полгода до этого я окончил среднюю школу. Я всегда воспринимал это как завершение: просто пришел конец чему-то, что тянулось уже слишком долго. Иногда я вижу сон... Часто приходится слышать о людях, которым снится, что они должны сдавать выпускной экзамен. Они просыпаются в поту: к счастью, они лежат в своей комнате, в своей постели, хоть и среди ночи, а выпускной экзамен сдавать не нужно, они сдали его уже полжизни тому назад. Кто в самом деле хочет знать, что значит такой сон, обращается в пункт психологической поддержки по месту жительства или пишет письмо в рубрику «Спроси у...» дамского журнала «Стрекоза».

Мой собственный сон об экзамене совсем другой. В моем сне мне нужно в школу. Дневники заполняются расписанием уроков. Раздается звонок. На следующем уроке у нас немецкий с госпожой Ван Акеринден-Хагенау. До сих пор меня во сне прошибает холодный пот. Тогда я еду на велосипеде домой. Что-то начинает проясняться. В том доме, куда я еду, я уже давно не живу. Я писатель. Мне вовсе не нужно в школу. Более того: если я целый год буду ходить в школу, у меня останется слишком мало времени, чтобы писать. Не пойду, говорю я себе по дороге к дому, где, между прочим, больше не живу. Я туда не вернусь. Да пошли они все куда подальше.

Но еще во сне мною овладевает непостижимо глубокое и теплое ощущение счастья. Я точно знаю, что улыбаюсь, — и во сне, и наяву, лежа в своей постели, в своем доме. Никогда не просыпаюсь я в поту. Не испытываю чувства облегчения. Чувство облегчения было уже во сне. Я каждый раз просыпаюсь с ощущением того, что и теперь, как и раньше, принял единственно верное решение.

Несколько лет назад я написал в рубрику «Спроси у...» журнала «Стрекоза». Мне хотелось узнать, что значит этот сон. Ответ пришел уже через три дня, а две недели спустя он был в сокращенном виде напечатан в журнале. Согласно их интерпретации, я сожалел. Я сожалел о том, что не принял это решение раньше. Еще в школе. Гораздо раньше могла бы начаться жизнь. Проторчав в средней школе (и сдавая экзамены), я сократил время своей активной жизни не меньше чем на три года.

Разглядывая фотографии того времени, я вижу кого-то, кто лишь отдаленно имеет ко мне какое-то отношение. Длинный, слишком тощий парень в блекло-серой курточке, которую при наличии фантазии можно было бы назвать традиционной крестьянской рубахой. Штанины столь же блеклых джинсов заправлены в черные резиновые сапоги почти до колен. Одной рукой он небрежно опирается на желтую крестьянскую тележку, чуть дальше за которой можно различить запачканные задние колеса красного трактора.

Снимок выглядит крутым, но он не таков. Для этого тот парень действительно слишком тощий и слишком длинный. И возникает вопрос: что же он там делал? Или другой: мог ли он в самом деле справиться с такой работой?

Те же вопросы продолжали преследовать меня и в последующие годы. Со временем, даже без фотографий, люди (родственники, друзья) всегда начинали ухмыляться, стоило мне заговорить о своем финском периоде. Обычно после нескольких обрывочных фраз («Это было зимой 1973 года, в десять часов вечера на градуснике было минус 27», «Я поехал туда, чтобы поработать руками», «Однажды я бензопилой чуть не отпилил себе ногу ниже колена») я старался поскорее сменить тему. Но иногда не успевал. Я еще спрашивал, уверены ли они, что хотят это услышать. Да, да, продолжай, ободряюще кивали слушатели. И я снова и снова заводил о путешествии на пароходе по льдам Балтийского моря до замерзшего порта в Хельсинки — в полной уверенности, что рано или поздно они начнут ухмыляться.

Часто я чувствовал себя собственным дядюшкой, который во время войны работал на строительстве Тайско-Бирманской железной дороги, а потом снова и снова рассказывал мне, как при побеге собственноручно перерезал глотку двум японцам. В возрасте от пяти до пятнадцати лет я слышал этот рассказ, наверное, раз тридцать и каждый раз пытался совместить голое одутловатое лицо дяди с поражающим воображение потоком крови, бурно вытекающей из перерезанных глоток японских солдат. Я не мог видеть недоверчивую улыбку на своем лице, но чувствовал ее, мне приходилось прикрывать рот рукой, чтобы спрятать ее от дяди, не внушающего доверия.

Вы уверены, что хотите это услышать? Дело не только в вежливости, этот вопрос относился к сомнениям в достоверности моего пребывания в Финляндии. К фотографиям, на которых я, правда, позировал, опираясь на буксируемую трактором крестьянскую тележку, но не было видно, как я на том же самом тракторе продирался по заснеженным дорогам сквозь финские леса. Вот именно: *продирался*. Всегда с трудом, особенно на поворотах. Мне было девятнадцать. Незадолго до этого произошли события, которые перевернули мою жизнь вверх дном, если не сказать, что они выбили из-под нее самую почву.

На что я надеялся — один, на этом тракторе, в лесу? На несчастный случай хотя бы. На несчастный случай, при котором я получил бы тяжелую травму — вплоть до смертельной.

Это было чувство освобождения — чувство, которое позже никогда ко мне не возвращалось. Никакого риска не существовало, точнее, он был, но это был друг — возможно, лучший друг, какой у меня был в 1973 году.

I

Я никогда не видел хлопьев снега крупнее тех, что падали с ночного неба на станции Лиекса, — ни до, ни после этого времени. В Нидерландах снежинки кружатся, как пух, спускаются осторожно, как парашютисты, ищущие безопасное местечко для приземления: ветку, тротуарную плитку, крышу автомобиля. Они недолго лежат там, а затем мирно тают: дело сделано, путешествие вниз окончено.

На станции Лиекса хлопья снега падали со скоростью кирпичей. Их было много, им было все равно, где приземлиться, они знали, где должны оказаться, они пришли, чтобы покрыть весь мир неумолимым белым слоем.

— Сейчас уже слишком поздно, — сказал человек, ожидавший меня под единственным фонарем на платформе и представившийся братом фермера. На его шапке и в бороде был снег.

— Завтра поедem на ферму.

Поезд нерешительно пришел в движение и направился в снежную ночь; даже не оглядевшись вокруг, я знал, что был единственным пассажиром, который высадился на станции Лиекса этой ночью.

— Мы в курсе происшедшего, — сказал бородатый брат, которого звали Ристо, позднее, за чашкой кофе в его маленькой кухне. — Но сейчас в самом деле слишком поздно. Лучше пойти спать, а завтра рано утром я отвезу тебя на ферму.

В первые дни у меня все валялось из рук: молочные бидоны, ведра, грабли, вилы, метлы и гибкие части электрического доильного аппарата, которые нужно было прикреплять к вымени коровы с помощью присосок. Я не мог себя видеть, это было еще не так, как позднее на фотографиях: пока еще я в это только верил. Я верил в менее неуклюжую версию себя самого, которая за неделю выйдет из старого тела. Я верил ни больше ни меньше как в возрождение: мое прежнее «я», с кривыми руками и двигательными нарушениями, будет отброшено и останется лежать, как старая кожа змеи, линяющей на валуне. Более сильная версия меня самого поднимется и будет так браться за тачки, грабли и метлы, как если бы никогда не делала ничего другого. С естественной легкостью я буду делить вилами сено между коровами, так зажимать соску молочного ведра между похожими на мокрые перчатки губами новорожденных телят, чтобы они не выбивали это ведро у меня из рук несколькими бодливыми движениями головы; небрежно обопрусь я о заднее крыло

трактора, паркуя его в сарае задним ходом. Как уже сказано, я не мог себя видеть, все это шло изнутри, правдоподобие должно было выкарабкаться в полном одиночестве.

В то первое утро Ристо уехал через полчаса после того, как привез меня на ферму, — чтобы не возвращаться в ближайшие полтора месяца.

Я задавался вопросом, знали ли Матти и Ритва, фермер, говоривший только по-фински, и его жена, о том, что произошло, было ли им хотя бы в нескольких словах рассказано о моем прошлом. Но потом мне пришло в голову, что тогда в кухне Ристо говорил «мы», — вероятно, Матти и Ритва решили, что об этих событиях лучше вообще не упоминать. Да и на каком языке им об этом говорить, подумал я, лежа ночью в постели в своей комнате без окон на чердаке сарая, в котором стояли трактор, борона, плуг и сеялка.

Мы въезжали в леса, где трактор проваливался в снег выше задних колес. Я учил свои первые финские слова. Слова, означающие «падающее дерево», «отдача бензопилы», «раны, которые невозможно зашить». На лесопилке, куда мы на цепях за трактором тащили деревья, я видел мужчин с тремя пальцами, с одной рукой, которая заканчивалась обрубок, мужчин в клетчатых рубашках лесорубов, которые одним движением поднимали целое дерево на платформу, где никогда не переставала вращаться циркулярная пила. Платформа двигалась в сторону пилы, и нужно было обладать искусной сноровкой, чтобы вовремя отскочить, чтобы распилилось только дерево, а не нога или все человеческое тело. Мужчины, у которых во рту было видно больше дырок, чем зубов, пили самопальную водку или денатурат из молочных бутылок, с которых они снимали крышки теми немногими зубами, что у них еще оставались.

Я знал, что их взгляды устремлены на мое слишком худое тело; я видел, как они подталкивают друг друга и качают головами; как они смеются, разевая свои пустые рты в недоверчивой ухмылке. Когда они громко разговаривали друг с другом по-фински, я был уверен, что говорят обо мне: они могут отпустить крепкую шутку о тощем парне, что-то насчет циркулярной пилы, что-то, чего он всю жизнь не забудет.

Есть еще друзья (мои лучшие друзья, хотел бы я думать, но знаю, что с этим мне нужно быть поосторожнее), которые, вместо того чтобы ухмыляться, подчеркивают исключительность моей одиночной поездки в Финляндию.

«Вот здорово, ты же уехал в девятнадцать лет», — говорят они. — «Никто из нас так не сделал».

«А, собственно, почему?» — думаю я, но помалкиваю.

«Должно быть, ты испытывал там одиночество», — говорят друзья. — «Мы считаем, это довольно мужественно».

Ферма располагалась на отдаленном полуострове одного из 188 000 озер, которыми богата Финляндия. Общаться по телефону было непросто: чтобы позвонить за границу, нужно было сначала связаться с телефонисткой и передать желаемый номер. Через полчаса ожидания, если повезет, можно было вдалеке услышать голос. Смутно знакомый голос родственника или друга. И дважды за шесть месяцев моего пребывания в Финляндии — голос оставшейся в Амстердаме подруги.

— Ты там еще надолго? — услышал я; это прозвучало так, будто она стояла в ванной, во всяком случае в помещении, облицованном плиткой.

— Не знаю, — правдиво ответил я.

В девятистах километрах к югу, как мне показалось, послышался вздох, но это мог быть и порыв ветра, который как раз сдул снежные хлопья с окон фермерского дома.

— Я думала, ты там через месяц это поймешь, — сказала она. — Разве тебе не скучно?

Нет, лучше было переписываться. Мы писали друг другу каждые три дня. В письмах мы рассказывали все, по крайней мере то, что не так-то легко было сказать по телефону, при подслушивающей телефонистке, хотя она, наверное, понимала только по-фински.

— Вчера на лесопилке посреди леса я распилил дерево вдоль, — предпринял я еще попытку. — А потом пил чистый денатурат из молочной бутылки. Это девяносто процентов спирта.

— Что ты говоришь? Ты все время пропадаешь. Я разобрала только «пилу».

При снижении над хвойными лесами мне вдруг, словно из ниоткуда, пришло в голову несколько финских слов. Слов, которые, должно быть, почти 40 лет были зарыты где-то в неосвященном уголку моей памяти.

Был октябрь 2012 года. Впервые с 1973 года я снова ступил на финскую землю. Алекси Силтала, мой финский издатель, приехал встретить меня в аэропорту.

— Сегодня вечером ты свободен, — сказал он, когда мы въезжали в Хельсинки. — Завтра утром я приеду в гостиницу в девять часов и мы вместе поедem на книжную ярмарку в Турку.

Свободен... Это прозвучало почти как что-то школьное, — завтра у всех третьих классов первые два урока пустые, — и мне стоило большого труда сделать свой вздох облегчения неслышным. Я рассчитывал на что-то другое: ужин с сотрудниками издательства, местным писателем и журналистом, который не задает прямых вопросов и только за кофе с коньяком начинает торопливо делать заметки.

В машине финского издателя я еще играл легкого себя, или лучше сказать иначе: я с воодушевлением играл роль раскованного говоруна, каким бываю не всегда. Это не составило большого труда теперь, когда я знал, что сегодня вечером буду один — сначала в гостиничном номере, а потом в ресторане.

Я постепенно убедился, что человек располагает лишь ограниченным количеством слов в сутки. Чем-то вроде пакета услуг на телефоне. В определенный момент начинает мигать красный свет, показывая, что количество отмеренных слов почти вышло. Если тогда все еще сидишь в ресторане с сотрудниками издательства, не слишком разговорчивым местным писателем и журналистом, который терпеливо дожидается момента твоей слабости, тут-то и возникает проблема.

Со мной не раз случалось так, что я замолкаю, едва приступив к закуске: мотор чихает, я останавливаюсь. Делаю еще одну отчаянную попытку зацепиться за какую-нибудь актуальную тему: последний террористический акт, вопрос о количестве иммигрантов в стране, где я в тот вечер гощу, — но душа к этому уже не лежит. Я все еще говорю, но это больше не мои слова. Обрывки газетных статей и телетекста прилипли у меня к языку и внутренней стороне щек. Я жую их, как слишком большой и жесткий кусок мяса, я очень хочу его проглотить, но боюсь, что этот кусок мяса безнадежно застрянет у меня в дыхательном горле. Журналист наклоняется над столом и заглядывает мне в глаза.

— Я слышал, вы только что сказали, будто в вашей стране иммигранты тоже создают проблему? — спрашивает он, доставая из внутреннего кармана ручку и блокнот и раскладывая их рядом со своей тарелкой.

Извиняюсь и ухожу в туалет. Там я остаюсь так долго, как это только по-человечески возможно. Мне нужно уложиться в определенное отмеренное время, иначе кто-нибудь из моей компании встанет из-за стола, чтобы пойти меня поискать. «Не стало ли ему плохо?»

Вспрыскиваю лицо водой из-под крана. В действительности у меня есть только одно желание: чтобы они обо мне забыли. Чтобы они и без меня смогли хорошо провести этот вечер до самого конца. Они же все равно скоро меня забудут, так почему бы уже не сегодня?

Смотрю в зеркало над краном и вижу погасшее лицо. Потухшее. Рождественскую елку, на которой выключили огоньки. Одни только скучные зеленые ветки. Это лицо больше ни во что не верит, прежде всего в себя самого.

Я дошел до точки. Уже совсем скоро, когда я выйду и снова присоединюсь к компании, мне придется принять ответственное решение. Говорить больше нельзя. По крайней мере, без вспомогательных средств. Я достиг своего предела по выпивке (четыре пива), алкоголь ушел из моего мозга и спрятался где-то глубже в теле. Сию минуту он просто делает меня тяжелым и тянет книзу. Если с этого момента я ограничусь водой, с языка у меня будет срываться все меньше и меньше. Если повезет, то за едой обо мне забудут и перестанут обращать на меня внимание. Они давно перешли с вежливого английского на свой родной язык. Они и смеются без особого стеснения — теперь, когда им больше не нужно обо мне беспокоиться. Лишь время от времени кто-то поворачивается ко мне, чтобы спросить, доволен ли я, не слишком ли жесткая оленина в красном вине — местный деликатес.

Впрочем, никто кроме меня не заказал этот местный деликатес, все остальные сидели, уткнувшись в бифштексы, картошку фри, салаты и гамбургеры. За гамбургер я прямо сейчас готов совершить убийство; оленину подали в глиняном горшочке, и я, кажется, съел уже не меньше половины, но доньшко так и не показалось. С каждым куском я будто удаляюсь от него, теперь мною овладевает паника — паника, подобная той, которую я иногда испытывал в море: я проплыл через полосу прибоя и теперь вдруг устал, я разворачиваюсь и плыву обратно к берегу, который словно все дальше и дальше, течение слишком сильное, оно, должно быть, подхватило меня и уносит в открытое море.

Журналист доел свой гамбургер и снова наклоняется ко мне. Я думаю, что давно ответил на его вопрос, вопрос об иммигрантах, без которого в последние годы не обходится ни одно интервью.

— Когда-то мы все были иностранцами, — говорю я, по опыту зная, что эта фраза, вероятно, станет заголовком статьи.

Поскольку журналист смотрит на меня вопросительно или непонимающе, я подробнее поясняю свой ответ.

— Мы уже тысячи лет живем при непрерывном переселении народов, — продолжаю я; вилку я отложил: чем длиннее будет мой ответ, тем больше отдалится момент, когда я доем оленину из горшочка. «Было очень вкусно, только многовато», — мог бы я с притворно-виноватым выражением лица вскоре сказать официанту.

— Человек всегда был в движении, — говорю я.

При этом я не интересничаю, не делаю вид, что возвещаю что-то новое. А потом понеслось... Просто загадка, откуда вдруг взялись все эти слова, ведь недавно я совсем замолчал. И только что всерьез подумывал никогда больше не возвращаться из туалета.

— Финны и венгры пришли из Монголии, — слышу я собственный голос. — Финны отправились на север, венгры отклонились к югу. Поэтому их языки доньше все еще родственны друг другу. Хотя родство это в основном выражается в использовании непонятных слов для обозначения предметов и понятий, которые во всем мире звучат более или менее одинаково. Вы знаете, как будет «полиция» по-венгерски? *Rendörség*. А «телефон» по-фински? *Puhelin*.

Тем временем несколько более словоохотливый местный писатель держит бутылку вина над моим бокалом. Я киваю. Это переломный момент. Или, вообще-то, переломный момент случился раньше, когда я вернулся из туалета. Пить или не пить. Повышать или нет лимит от трех до четырех бокалов. Завтра будет новый день. Напряженный день — я, к счастью, забыл программу, которую сунули мне в руки в такси по дороге из аэропорта в центр города. С похмелья, даже легкого, этот день не сдвинется с мертвой точки. День, как в конторе, где слишком мало работы и стрелки настенных часов кажутся неподвижными. Но сейчас — это сейчас. Придется еще разговаривать, в том числе и мне.

— Почему финны очутились на севере, а венгры — на юге, мы уже никогда не узнаем. Ссора между двумя вождями племен. Вероятно, из-за женщины. Может быть, они были братьями, эти двое вождей. «Я иду на юг, мне здесь слишком холодно», — вопит один брат. «Делай как хочешь, упрямый ублюдок!» — вопит в ответ другой брат и направляет своего коня на север. — «И забирай с собой эту шлюху!»

Не знаю, в чем тут дело, может быть, в слове «шлюха», но я внезапно замечаю, что меня слушают не только журналист и местный писатель, головы других присутствующих тоже повернуты в мою сторону. Прочие разговоры — как знать, давно ли, — стихли.

Из молчаливого иностранного писателя, которого кому-то под конец вечера выпадет жребий провожать в гостиницу, я превратился в центр притяжения всеобщего внимания.

Делаю вид, что ничего не замечаю и снова обращаюсь к журналисту и отчасти к писателю.

— Затем пришли гунны, — продолжаю я свою аргументацию. — Или, может быть, они пришли раньше, не берусь утверждать. В любом случае в Европу все приходило с востока. Готы, германцы — римлянам удавалось веками держать этих неграмотных варваров на расстоянии, у внешних границ своей империи. В некоторых отдаленных уголках даже с помощью стены, как императору Адриану на границе нынешней Англии с Шотландией. Но в конце концов они все-таки прорвались. И все разгромили. Статуи, храмы, бани — все следы цивилизации были разбиты вдребезги. Просто удивительно, что в Риме еще остались руины, которыми можно полюбоваться, — готам, видимо, хватило разрушений, чтобы не приниматься за Колизей или Римский форум.

Что из этого завтра или послезавтра попадет в газету, спрашиваю я себя во время краткой передышки, которой пользуюсь, чтобы опорожнить свой бокал и подать писателю почти незаметный знак снова в него подлить.

— Стало быть, беда всегда приходит с востока, что верно и для наших дней, и то же самое было верно в пятнадцатом и шестнадцатом веках для индейцев Северной и Южной Америки. Там тоже были вдребезги разбиты статуи и храмы, заколоты целые племена. Мы сейчас с такой легкостью говорим об отсталых и нетерпимых религиях. Но постарайтесь-ка вдуматься, как это должно было выглядеть для индейцев. Для апачей и сиу. На протяжении веков вы охотились на бизонов, бизонов всегда было много, им никогда не угрожало вымирание, но потом к берегу на своих кораблях причаливают белые. У них есть ружья, они бросают в костер ваши тотемные столбы и дарят вам носовые платки, зараженные ветрянкой или корью. Не успев это понять, вы сами становитесь вымирающим видом. А белые приносят с собой еще и кое-что другое: религиозный фанатизм. Безрадостные заповеди у протестантов на севере, но также и увлечение обращением у католиков на юге, их инквизиция и их еретики, приговариваемые к костру. Будут ли индейцы когда-нибудь рассматривать этих вторгшихся к ним массовых убийц как освободителей своей культуры? Прежде чем они их раскусили, восемьдесят процентов первоначального населения было уничтожено, а остальные заперты за забором в так называемых резервациях...

— А эти индейцы, знаете ли, тоже были хороши.

Смотрю в лицо красивой женщины средних лет, с которой до сих пор не перемолвился ни единым словом, потому что она сидит на противоположном конце стола.

Я не помню, кто это, — сотрудница издательства, еще одна журналистка или, может быть, жена издателя. Самое неприятное в ужинах вроде этого — что тебя слишком быстро знакомят со слишком большим числом людей одновременно. Их имена забываются уже в момент рукопожатия.

— Эти ацтеки, майя вовсе не такие милые, симпатичные, свободолюбивые ребята, — продолжает женщина. — Они десятками тысяч одновременно приносили в жертву собственное население, чтобы умиловить богов. Теперь мы посещаем их храмы и пирамиды, но часто забываем, что это были первые в истории лагеря смерти.

Тем временем заказан кофе с коньяком. Нет, заказана вторая порция кофе с коньяком. Свежий допинг. Допинг для разговора. Но это чисто хищническая эксплуатация темы разговора. Сегодня вечером я выйду далеко за рамки отмеренного мне количества слов. Реакция наступит завтра. Завтра я буду угрюм и молчалив, невыносим, не в последнюю очередь для себя самого.

Улыбаюсь женщине, даже слегка прищуриваюсь, глядя ей в глаза. Думаю, ей за пятьдесят. Она одета в темно-синий свитер, поверх которого выступает белый воротничок блузки. Волосы приподняты. Теперь я знаю, кого она мне напоминает: Анну Каренину. Не Анну Каренину из той или иной экранизации, а ту Анну Каренину, которую я представлял себе, читая книгу.

— Вы совершенно правы, — говорю я по-английски.

К счастью, на этом языке невозможно понять, говоришь ты «вы» или «ты». По моему, она, скорее, «вы», но может стать и «ты» — может быть, еще этим вечером.

— Они не были милыми ребятами.

Продолжаю улыбаться и, несомненно, выгляжу идиотом. Если мне вскоре станет плохо или я прямо здесь потеряю сознание, ты отведешь меня в гостиницу? — мысленно спрашиваю я эту женщину, не сводя с нее глаз. Вся остальная компания умолкла. У меня в ушах раздается только звон, который в последние пятнадцать лет постоянно преобладает, когда исчезают окружающие звуки: по мнению моего домашнего врача, это остаточное нарушение слуха, вызванное многолетним посещением поп-концертов в «Парадизо»¹ и «Млечном пути»².

А потом вдруг мы стоим на улице. Идет снег. Снежные хлопья падают на блестящие булыжники, которыми вымощены все улицы и переулки здесь, в старом центре. Я приблизительно знаю, где нахожусь: не в Финляндии, но в похожей скандинавской или

¹ Paradiso (нидерл.) — культурный центр с концертными залами в Амстердаме (прим. переводчика)

² Melkweg (нидерл.) — популярный клуб в Амстердаме (прим. переводчика)

восточноевропейской стране, в северном городе, Осло или Стокгольме, Рейкьявике или Санкт-Петербурге. Я знаю, где моя гостиница: через две улицы направо, наискосок пересечь небольшую площадь, вот она. Но я смотрю в другую сторону.

— Даже и не знаю, как я...

— Не беспокойся, я тебя провожу

Женщина подошла ко мне, на ней длинная, до колен, шуба. Настоящая: такая шуба привела бы вегетарианцев в ярость, но здесь, в стране, где я сейчас нахожусь, она вполне естественна. Как хорошо, думаю я, как хорошо, что все еще есть страны, где шуба может восприниматься естественной, такой же естественной и самоочевидной, как в романе девятнадцатого века.

Она протягивает мне пачку сигарет. Я бросил курить 12 ноября 1996 года. Беру одну, она дает мне прикурить, потом закуривает сама.

Первая затяжка производит тот же эффект, что и первая затяжка на площадке возле школы, где навес для велосипедов. Чувствую, что должен за что-то ухватиться, чтобы не упасть, и слегка касаюсь ее шубы.

— Погодите... — начинаю я. — Кто ты... вы... *you*³...

Жестом указываю на компанию вокруг нас, в которой тем временем все уже прощаются друг с другом.

— Я твой издатель, Герман, — говорит она. — То есть, издательство мне принадлежит. Я занимаюсь цифрами, мой муж — авторами. За это я ему благодарна, у меня самой ни за что не хватило бы на это терпения.

Здесь, на улице, в шубе, она еще больше похожа на Анну Каренину, чем только что в ресторане. Она еще сильнее наводит меня на мысли о самой первой Анне Карениной, которую я видел.

Это было давным-давно. В 1973 году, в Финляндии.

³ (англ.) ты или вы (прим. переводчика)

В тот вечер было весьма сомнительно, что я пойду на танцы в деревню. Сначала я пожал плечами и сказал, как смог, по-фински, — я жил там уже больше месяца — что, возможно, мне лучше остаться дома.

— Но это же хорошо, чтобы познакомиться с людьми, — сказал Матти. — Для тебя. С людьми твоего возраста. Ты же еще никого здесь не знаешь.

Матти был прав. По крайней мере, что касается его утверждения, будто по прошествии месяца я все еще никого здесь не знал. Что ж, я «знал» людей с лесопилки, которых к тому времени тоже вполне мог понять. Во время обеденных перерывов меня больше не пропускали при передаче по кругу молочной бутылки, наполненной денатуратом. Они рассказывали истории о финско-советской войне 1939-1940 годов. Русские думали, что смогут задавить Финляндию за несколько дней, но были сильно разочарованы. У финнов не хватало оружия, они брали изобретательностью. Один из мужчин рассказал, как шестнадцатилетним мальчиком он залез на русский танк сзади, открыл люк в оружейной башне и запустил туда коктейль Молотова. Горящие русские солдаты, которые вылезли наружу, стали легкой добычей для снайперов, спрятавшихся за березами.

Самый большой — я сознательно не говорю, что самый толстый, потому что не от жира он был таким большим, — из лесорубов, который, по слухам, мог снять с прицепа 250-литровую бочку дизельного топлива, рассказал случай, как во время той войны молодой русский солдат живым выбрался из горящего танка. Он сказал, совсем мальчишка, лет восемнадцати, девятнадцати. Затем он рассказал, что они сделали с этим мальчиком. Мой финский все еще был слишком ограничен, чтобы понять его в подробностях, пробелы были заполнены моим воображением. Остальные лесорубы приумолкли, как знать, может, они уже слышали эту историю, и она была рассказана здесь в сотый раз. Или они сами могли знать подобные истории. Один из них выплюнул в снег черную полоску табака, другой покачал головой.

— А что вы хотите? — спросил рассказчик. — Это ужасно, но это была война. Такие вещи мы делали запросто.

Я знал еще несколько человек в деревне, хотя «знал» — это громко сказано. Как и «деревня». Деревня в Финляндии — это место, где от дома до дома не тридцать километров, а три. Зимой по снегу проезжали только трактора. И сани — они тоже были довольно обычным средством передвижения в Финляндии 1973 года. Письма, которые я каждые три

дня писал своей подруге в Амстердам, я доставлял на беговых лыжах к единственному почтовому ящику в двух километрах от фермы. Сначала спуститься с холма в конце участка, а потом пересечь замерзшее озеро. Я еще никогда в жизни не стоял на лыжах, поэтому постоянно падал, обычно на бок, после чего требовались огромные усилия, чтобы встать на ноги.

Иногда я ездил на тракторе на другие фермы, чтобы что-то забрать или отвезти: сельхозмашину, мешки с минеральными удобрениями, бочки с молоком. Большинство фермеров приглашали меня в дом на чашку кофе. Беседы неизменно происходили по одной и той же схеме. Сколько лет? Родители? Братья и сестры? Моего финского было достаточно, чтобы ответить на эти вопросы, но без нюансов, это было похоже на анкету, в которой против всех вопросов можно только поставить галочку «да» или «нет». Обычно после моих коротких однозначных ответов разговор заходил в тупик. Мне еще удавалось сказать, что мои три сестры и единственный брат были детьми моего отца от предыдущего брака, но без дальнейших объяснений это звучало как-то более греховно, чем было на самом деле. Я мог нафантазировать, но иногда мне казалось, что лица крестьян, которые сначала улыбались и заинтересованно слушали, после такой информации на мгновение застывали. Возможно, они видели во мне то, чем я не был: незаконного ребенка, рожденного от внебрачной связи моего отца. В любом случае, он бросил свою первую жену и четверых подрастающих детей, чтобы удовлетворить свою похоть к гораздо более молодой и, по всей вероятности, гораздо более красивой женщине. Для реальности в моем распоряжении не было достаточного количества финских слов. Мой отец сначала ушел из той семьи, хотел бы я сказать, как будто это что-то меняет, и только потом он встретил мою мать.

А потом сами эти сестры и брат, так я их называл: мои сестры и мой брат, хотя, строго говоря, они, конечно, ими не были. В общем, это была довольно сложная история, которую я живописал на окрестных фермах, используя, наверное, не более сорока финских слов. Мало того, что мой отец был грешником и прелюбодеем, так еще и я сам был единственным ребенком, к которому, без сомнения, относились все предрассудки, существующие в отношении единственных детей. Единственный ребенок был здесь исключением, редкостью даже в большей степени, чем в Нидерландах. Нормой было от четырех до восьми детей, я никогда не мог бы дотянуть до нее с тремя полусестрами и одним полубратом. Я часто думал, что лучше не иметь ничего, чем что-то наполовину. Уже само это слово: оно звучало, как и другие вещи, которые были полупустыми или наполовину сделанными. Как полужирное молоко — продукт, которого в 1973 году не существовало, а в Финляндии, где прямо из-под коровы молоко выходило цельное и пенистое, и подавно.

Так через сестер и брата мы приходили сначала к моему отцу и наконец к матери. Крестьяне хотели знать, кем работает мой отец, но у меня опять не хватало словарного запаса, чтобы объяснить, что в том году моему отцу исполнится семьдесят лет, что на самом деле он на пенсии, вернее, что он должен быть на пенсии. То, что в шестьдесят девять лет он по-прежнему каждое утро встает в половине восьмого, чтобы идти на работу, я едва ли мог объяснить. На середине такого объяснения у меня закончились бы слова, возможно, мое лицо постепенно розовело бы, я начинал бы запинаться и опускать глаза, как будто запутался не в сложности объяснения, а в паутине лжи, которую сам же и сплел.

Поэтому я ограничивался короткой пантомимой, в которой стучал на невидимой пишущей машинке и для полноты картины приводил в порядок несуществующую стопку бланков.

Финны всегда сразу понимали, что я имею в виду. «Контора», — говорили они, хотя между тем я забыл финское слово «контора». — «Твой отец работает в конторе».

То, что, мимикой и жестами изображая пишущую машинку, с таким же успехом можно представить совершенно другую профессию, дошло до меня только тогда, когда один из фермеров спросил меня, кем я хочу стать. Как раз вовремя мне удалось подавить первый порыв снова изобразить пишущую машинку. Фермер мог бы сделать логический вывод, что мои амбиции заключаются в том, чтобы впоследствии работать, как отец, в конторе.